**9 класс**

Комплексный анализ прозаического произведения

*И.С. Шмелёв*

**Письмо молодого казака**

Лети моё письмо еропланом-птицей скрозь всю Европу и Германию, прямо на Тихий Дон, в наше место, в Большие Куты, на Семой Проулок на уголок, под кривой явор, в родительское гнездо, к дорогим и бесценным родителям старому казаку Николаю Ористарховичу Думакову и родительнице нашей Настасье Митревне в руки. От сына вашего меньшого, молодого Казака Первой Сотни Перво-Линейного Захоперского Полку, Ивана Николаевича Думакова, с дальней стороны, из-под городу Рван, с железного завода, называется Французская Республика.

Кланяемся вам, бесценные родители, от бела лица до сырой земли.

И так что извещаем. Молитвами вашими и благословением, как оглушали на бранный бой, жив ваш сын Казацкий сокол Иван Николаевич Думаков. И от пули, и от снаряда, и с газов, и с-под красного расстрелу, окроме всяких болезней. И с голоду, и с политической измены. Прошел наскрозь. И стою на посту-дозору, хочь и давно пику перворядную сломило не стыдным ветром, а безвинным горем. Но не убивайтесь про меня, родители, не стыдитесь сына вашего Ивана Николаевича Думакова, 27 лет. Обе руки мои при мне у груди, голова на плечах, гляжу на все четыре стороны, ничего с меня не убыло, а прибыло. Одна тоска сердце мое вередит Казацкое, что не имею от вас досыла, как отшёл с дому. Отпишите мне скорей на девятое моё письмо, которое с голубыми марками, ихняя женщина сеет, как требует казённая хворма Французской Республики.

Зачего вы молчите не говорите, как в земле лежите? Аль уж и Тихий Дон не текёт, и ветер не несёт, летняя птица не прокричит? Не может этого быть, сердце моё не чует. Было известие на стреле со Станицы нашему Казацкому Подхорунжему Семеон Михайловичу Копыткову от кума ихнего Кулика, который без глаз с германского плена, сидит на хуторе у пчелы, какие постигло смерти и какие кресты поставлены. Знато нам, которые здесь ушедчи, с Барыкиных Хуторов, и с Каменного Намёта, и с Власьевской, и с Гусятинской, и сокруг места нашего, которые спят Казаки, опрокинув голову, вольной-невольной смертью. И которые живут под ветром чужих государств, покрыты нуждой и славой заместо родимой доли. Горе и нужда как чирий спадёт, а слава, как калёное тавро, железом выжгена на груди до смерти. И после смерти на Золотых Досках прогремит!

Слышно нам, как Соломатова Кузьму моего поручного Первой Сотни взяли на казнь расстрела. И ещё смерть дали Васеньке Выжгину, и Хоме Беркуту, и Вселоду Топчуку, старому Хорунжему, потерял он руку в боях Германских, милому другу и приятелю Ерёмке Крылу! И ещё Мишке Веткину, и Конону Синь-Носу с Глинищенской, и всем Глазунам за семенной произвол за чего восставали гордо! Память их пройдёт по Казацкой Земле до моря и даже за море к нам дошедчи. И зачего Стёпке Руденкову и Артамошке Бессыхину бант кровавый на грудь змеям, сорвавши Крест, навесили. И пробьёт время! И что погорели наши Куты с Высокого Конца и до Пожарных Сараев, где ракиты, грачи шубуршат на гнёздах. И порубили те ракиты, и ставки сохнут. И кобылка хлеба поточила, и бык закатал учителя Иван Николаича, мово тезку. Царство Небесное, я его помню, стих в Крестоматии учили про Казака. Книжки такой неизвестно тут, а всё газета. А вы мне собирались сватать, то та краса пропащая стала Ксютка Акимкина, старого Кондрата дочка, ушла без чести, как сучонка за шматок сала, за ихним комиссаром безо всякой веры. Гнилая Ягодина на выплевки! А живы вы не живы, вести не добежало до меня.

Так что горюете по сыну вашему молодому Казаку Ивану Николаевичу Думакову, а я жив. Гляжу на вашу сторону. Как ветер на вас дует, гляжу – сторожу. Матушка! А никто не слышить. Никто не понимает нашего Казацкого языку. А как с вашей стороны ветер сухой подует, слезы сушит и в груди жгёт. Но не печальтесь. Я стою во весь рост, шапка только на мне чужая, шляпа мятая, а не шапка наша. Пропала моя Казацкая, утопил её, в море скинул, как потчевал нас на чужом корабле красным вином французским. Не в чужом море кинул, в нашем Чёрном, как моё горе. Плыви – тони!

Родитель наш дорогой, Николай Ористархыч. В девятое письмо пишу, а вы утирайте слёзы. Слово ваше сберёг до сердца Казацкого, как Крест благословления. И вот утирайте слёзы, не попинайте, Коня вашего споминайте, а моего друга Голубёнка! Гуляет его душа по родной Степи, не на чужих лугах иностранных. Здесь и одной голове тесно, и глядеть не родимым очам, а как пришельные. Все походы со мной прошёл, левое плечико пуля поцеловала, все четыре ноги царапаны. Семнадцать Атак носил. Два раза пропадал, по чужим коновязям стаивал. Два раза его отбивал, наше тавро по Отестату доказывал. Отбил. По Кольцу Крест-косушка! Тавро наше. При вакуации в Хведосии сам его положил безбольно. Глаза завязал ему, в губы поцеловал, слезами обмыл на смерть. Ух, не печалуйтесь, не жгите глаза слезами, содержите бережно до сына вашего молодого Казака. Я приду. Погляжу в глаза, чтоб весёлые были, меня оглядали, какой я на вас выйду.

Пал мой Голубёнок серолобастый, шёлкова шёрстка, белы ножки, крапина на груди как перцем. Ох, родимые... стуканула та пуля в моё сердце, пьяным напоила безвинно, дожидала вторая верного места. Да встало мне: а кто ж за всё, за кровь нашу, за Степь горевую нашу, за Коня, боевого друга, за ваши горя, родители мои, ответа стребует? Шепнул мне ветер: стой Казак! береги пулю, дойдёт время! Выплеснул патрон тот чередной, при мне лежит, тоску мою сторожить. Не плачьте, не убивайтесь. Ворочусь на Родину, на Тихий Дон, на Казацкую Волю новую! Сидит на бугру чёрная птица, крачет, бела лебедя когтями точит. Пойдёт моя пуля за реку, пробьёт моя пуля стервятнику! Рука моя дрогает, сердце в груди туркает, дожидает.

Родители мои бедные, от свиного корма питаетесь, корочку угрызаете. Известна мне ваша доля. Ночами во снях вижу, за ворота глядаю, будто всё двор метёте. А подметать чего нет, омыто до самого порога. Ждите, переступлю порог.

А жизнь моя ничего, в прохладе. Был я в городе Париж, высокая каланча железная, подает радио, телеграф во все страны, до нашего Дона. А не слыхать по ней доли вашей, скрозь летать! Большой город, весёлый, бульвары и памятники на каждом рынке. А люди неизвестны. И будто бывал уж по тем местам, знато мне то место, с чего? Споминал, как сказывали старину, как ваш Дед славный Казак Ористарх Думаков гулял в городе том Париже, Конём своим с Дону травы чужие мял, из реки ихней Коня своего поил водой тёмной, в бубен трепал, спал под чужим небом, под звёздами Французскими! Плясал трепака с ихнего вина сладкого, шапкой землю трепал Казацкой, бодал сапогом кованым, гремел лихью, с песней прошел Казацкой от Тихого Дону до ихнего Парижа! Где теперь Казаки, слава ваша? Под кем живёте?! Перед кем шапку ломаете?! пики гнёте?!..

А я молодой Казак, какую песню спою, и где моя шапка, и где мой Конь? Воду ношу, железо кую чужое. Уголь копал, камень бил по балканским горам-лесам, проволоку сдирал Французскую, кровию белы руки плачуть. И кто я теперь, Казак! И где мои песни? Какого коня поить?..

Но не плачьте, родители, не убивайтесь, не сушите сердце, слезу зажмите. Приду – выпью, пьян напьюсь с её дочума, разыму глаза, голову кину прочь, чтобы не мешали думки. Я теперь прямо гляжу на свет через многие страны, через всякие народы вижу. Всего вижу, всего я знаю. Нет теперь меня выше, хоть и сточили ноги! Не хуже другого сын ваш молодой Казак. Не утеряюсь в других народах, дождусь доли. Ух, горем своим напился, слезой умылся, кулаками утёрся досуха. Жив я, Казак, чую, не долго у чужих косяков слоишься.

С родимой стороны стеновой ветер дует, бело лицо колет, сердце жгёт. Чую-знаю, идёт срок мой, ждёт меня конь мой, древо на пику выросло. Кинусь на степь играть, Коня горячить – гулять. Эх, вы, Горы Карпатские! ходил через их, гулял!.. Все дороги-пути известны.

Лети, мое письмо, еропланом-птицей на Тихой Дон, к старому Казаку родителю Николаю Ористарховичу Думакову в руки, родительнице нашей Настасье Митревне на сердце!

Девятое письмо гоню. Что ж от вас позыва не слышу, досыла не получаю? Скрозь землю отзовитесь, шупотком скажите, – травой услышу! Голос подайте мне – и вот и я!..

А теперь голову преклоню: благословите, родители, батюшка и матушка, меньшого сына вашего молодого верного Казака Ивана. Дошлите мне вашу грамотку с нарочным человеком. Не доходят письма мои, и ваши не доходят. Едет нарочный человек, стрелит стрелою на тихой Дон. А вы дождитесь. В думку ему вложите. Бумагу дорога измотает, не прочитать, одне-то слёзы увидишь.

Помолите Угодников и Пресвятую Богородицу и Спаса Нашего на Хоруге нашем Казацком, Глаз Строг. И ворочусь несрочно, на радости! Чует сердце, встаёт мой срок!

Поклоны мои земные дайте Земле Казацкой, Донскому Войску, Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, Степи широкой. Поклоны мои земные друзьям-братьям, злою неволею погибшим, кому могилы не далеко, а пылью-прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня Крестам на погосте, вербам, дорогам, Большим Кутам и Св. Кресту Господню на Храме нашем, и всем родным, вживе которые остались, молодого Казака не забыли.

А вам в ноги припадаю, родители мои старые, горевые, батюшка и матушка. Не печальтесь, не плачьте, жив. Во весь рост стою я, меньшой ваш сын, ширше плечами стал, могутней. До радостного свиданьица!..

*Март 1925 г. Париж*

**10 класс**

Комплексный анализ прозаического произведения

*П.И. Мельников-Печерский*

**На станции**

Надвигалась грозовая туча; изредка сверкала молния, порой раскатывался гром в поднебесье... Стал накрапывать дождик, когда приехал я на Рекшинскую станцию.

Станционный дом сгорел, на постройку нового третий год составляется смета: пришлось укрываться от грозы в первой избе.

Крестьяне в поле, на работе. В избе восьмилетняя девчонка качает люльку, да седой старик шлею чинит.

– Бог на помочь, дедушка!

– Спасибо, кормилец!

– Что работаешь?

– Да вот шлею чиню. Микешка, мошенник, намедни с исправником ездил, да пёс его знает, в кабак ли в Еремине заехал, в городу ль у него на станции озорник какой шлею изрезал... Что станешь делать!.. На смех, известно, что на смех. Видят, парень хмельной, ну и потешаются, супостаты... Шибко стал зашибать Микешка-то, больно шибко. Беда с ним да и полно.

– Что он тебе?.. Сын али внук?

– Какой сын! В работниках живет.

– Зачем же ты пьяницу в работниках держишь?

– А как же его не держать-то?.. Его дело сиротское – сгинуть может человек... А у меня в дому все-таки под грозой. У него же мать старуха, вон там на задах в кельенке живёт. Ей-то как же будет, коль его прогоню?.. Она, сердечная, только сыном и дышит.

Пережидая грозу, долго толковал я с Максимычем – так звали старика. Зашла речь про исправника. Максимыч его расхваливал.

– Исправник у нас барин хороший, самый подходящий, – говорил он. – Не то чтобы драться, как покойник Пётр Алексеич, – Царство ему Небесное! – словом никого не обидит. Славный барин – дай Бог ему здоровья, – все творит по закону. А покойник Пётр Алексеич – лютой был, такой лютой, что не приведи Господи. Зверь, одно слово, зверь. А нынешний, Алексей-от Петрович, барин тихий, богобоязненый: вот третий год доходит – волосом никого не тронул. А сам весь в кавалериях, а на правой рученьке двух перстиков нет: на войне, слышь, отсекли.

Вот уж третий год сидит он у нас в исправниках и всё по закону поступает. Уложенна книга завсегда при нём. Чуть какую провинность за мужиком приметит, тотчас ему ту провинность в Уложенной сыщет и даст вычитать самому, а коли мужик неграмотный, пошлет за грамотеем, не то за дьячком, аль за дьяконом, аль и за попом... Велит статью вслух прочитать, растолкует её, да что по статье следует, то и сделает, а каждый раз маленько помилует. Ведь во всякой статье и большой есть взыск и маленький: так Алексей Петрович, дай Бог ему здоровья, все маленький кладёт... И всегда судит на людях, сотские каждый раз всю деревню собьют, чтобы все видели, чтоб все слышали, как он суд и расправу даёт. «Терпеть, говорит, не могу творить суд втайне, пущай, говорит, весь мир знает, что я сужу по правде, по закону, по совести...» И точно... Всегда взыск делает, как в Уложенной книге батюшка царь написал... И завсегда маленько посбавит взыску-то... Отец родной, не барин... Все им довольны остаются. Бога благодарят за такого исправника.

Спервоначалу, как наехал, мужички, как водится, сложились было всей вотчиной: хлеб-соль ему поднесли и почесть. Хлеб-соль принял: «От хлеба от соли, говорит, грех отказываться, и потому я, по Божьему веленью, его принимаю, а взяток и посулов брать не могу, а потому и вашего мне не надо. Не такой, говорит, я человек, служил, говорит, Богу и великому государю верой и правдой, на войне кровь проливал и не один раз жизнь терял. Стало быть, взятками мне заниматься нельзя, мундира марать я не должен. А закон, говорит, буду над вами наблюдать строго: у меня, говорит, чтобы всё как по струнке ходило. Наперёд приказываю, чтобы в каждом доме весь закон исполнялся. Не то, говорит, держите ухо востро. Наперёд говорю: строго взыщу, как по закону следует, взыщу. Мне, говорит, что? Притеснять мужика и от Бога грех, и по своей душе не могу, потому что век свой в военной службе служил. А что закон предписывает, содержать буду крепко и супротив закона ни единому человеку поноровки не дам».

На такие речи осмелились мужички спросить Алексея Петровича: про какие же это законы изволит он речь вести. «Про все, бает, законы говорю, сколько их ни на есть, чтобы все исполнялись до единого».

Мужички опять осмелились доложить:

– Мы-де, ваше высокоблагородие, законов не разумеем. Люди мы не мятые, грамоте не знаем, законов не читали, и в остроге мало которые из нашей вотчины сидели... Там, слышь, законам-то старые тюремные сидельцы всех обучают...

На это слово молвил Алексей Петрович:

– Милые вы мои мужички! Есть в нашем Российском государстве такой закон, что неведением законов отрицаться не можно: стало-быть, вы, ничего ещё не видя, передо мной супротивность закону сделали, коли говорите, что закон вам неизвестен... На первый раз прощаю... Суди меня Бог да великий государь – беру грех на душу; а вперёд держите ухо востро. Да помните у меня: ежели кто осмелится ко мне со взятками подойти аль с почестью, так я распоряжусь по-военному: до полусмерти запорю. Слышите ли?

Замялись мужички. Обидно, знаешь, стало: перво дело – почестью побрезговал, а они сто целковеньких со всяким было усердием; другое дело, больно уже тёмные речи загибает. Сразу-то разумных его речей и вдомёк взять не могли.

Шлёт он по малом времени наперёд себя рассыльных... Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!.. – торопливо крестясь, прервал речь свою Максим, когда яркая молния чуть не ослепила нас, и в ту ж минуту с треском и будто с пушечными выстрелами загрохотал гром над нашими головами.

– Ай, Господи, батюшка! В поле-то кого не зашибло ли, – скорбно проговорил Максимыч, немножко оправившись... И, мало помолчав, вполголоса продолжал речь свою про исправника.

– Шлёт Алексей Петрович по всем волостям, по всем вотчинам повестить, новый, дескать, исправник едет, в каждом бы дому по закону всё было. А что такое по закону – ни бумагой, ни речью того не приказывает. Приезжает к нам в деревню Рекшино... Дело-то было зимой, перед масленицей; чуть ли в саму широку субботу[[1]](#footnote-1).

Во всяком дому побывал, на что келейны ряды, и те исходил, ни единой кельенки не проминовал. А у самого в руках Уложенная.

К первому зашёл к Захару Дмитричу: изба-то у него с краю. Вошёл, как следует, только в шапке, и, снявши её, на стол положил. По-нашему, по-крестьянскому, это бы грешно, а по-вашему, по-господски то есть, может, так и надо. У Захара дедушка слепенький есть – лет девяносто с лишком старичку. Сидел он той порой на кути. И с ним поговорил Алексей Петрович, про стары годы расспросил и про то, уважают ли его внучата, доволен ли ими. С хозяйкой поговорил, за досужество в избе похвалил и всё нашёл по закону, в порядке. Да, выходя из избы стал на голбец[[2]](#footnote-2) и заглянул на печку.

– Зачем, говорит Захару, рогожка-то на печи?

– А вот, батюшка, ваше высокоблагородие Алексей Петрович, слепенький-от дедушка-то спит на эвтом самом месте. Ему рогожка-то и подостлана.

– Ну – говорит Алексей Петрович, – это дело не ладно, этого закон не позволяет.

– Да ведь, батюшка, ваше высокоблагородие, – проговорил Захар, – на печи-то горячо живёт, без рогожки-то старец спину сожжёт... Без рогожки никак невозможно.

– Пущай, говорит, дедушка на полатях спит, а рогожу на печи держать закон не дозволяет.

– Да ему, батюшка, ваше высокоблагородие, на полати-то и не взлезть. И на печку-то с грехом лазит. Намедни упал, сердечный, да таково расшибся, что думали, решится совсем, за попом даже бегали. Дело-то его ведь больно старое.

– На полати не взлезет, так на лавке вели ему спать, а рогожи на печи не держи: закон запрещает.

– Как же это возможно, ваше высокоблагородие, – сказал Захар. – Где ж это видано? Где ж слепому старцу и быть, как не на печи? Дело его старое: на лавке холодно. Да и нельзя, батюшка Алексей Петрович. По-нашему, по-крестьянскому – старшему в семье на печи место. Как же сам-от я с женой на печи развалюсь, а дедушку на лавку положу? Такое дело сделать: и в здешнем свете от людей покор, и на Страшном Суде Христос ответа потребует.

– А когда так, – говорит Алексей Петрович, – так постели дедушке на печь тюфяк, да только чтоб не сеном был набит, не соломой, не мочалой, потому что всё это запрещено. Набей его конской гривой либо пухом.

– С нашими ли достатками, батюшка, ваше высокоблагородие, такие тюфяки заводить?.. Чем пуховый тюфяк справлять, лучше на те деньги другу лошадёнку купить.

– Как знаешь, – говорит Алексей Петрович, – я ведь тебя не неволю. Только смотри у меня, вперёд берегись. Теперь я с тебя по закону невеликое взыскание возьму, а ежели вдругорядь на печи рогожу найду, взыскание будет большое. Помни это. Было ведь, кажется, вам всем приказано, чтобы все готовы были, что законы я буду содержать крепко. Рассыльного нарочно присылал... А вам всё нипочем! Не пеняйте же теперь на меня... Грамоте знаешь?

– Господь умудрил, – говорит Захар.

Алексей Петрович ему Уложенную в руки.

– Читай вот в этом месте, – говорит. – Читай вслух.

Вычитывает Захар: «Кто порох да серу, селитру да солому али рогожу на печи держать будет, с того денежное взыскание от одного до ста рублей».

Взвыл Захарушка, увидавши такой закон. Сам видит, что надо будет разориться. Всё заведение продать и с избой вместе, так разве-разве сотню целковых выручишь. Вот-те и рогожка!

Повалился в ноги Алексею Петровичу, хозяйка тоже, ребятишки заголосили, а дедушка хотел было поклониться, да сослепа лбом на ведро стукнулся, до крови расшибся. Лежит да охает.

– Помилосердствуйте, батюшка, ваше высокоблагородие, – голосит Захар, – ведь это выходит, что мне за рогожку надо всем домом решиться... Будьте милостивы!.. Мы про такой закон, видит Бог, и не слыхали... От простоты... Ей-богу, от одной простоты, ваше высокоблагородие.

Алексей Петрович на то кротко да таково любовно промолвил:

– Неведением закона, братец ты мой, отрицаться не повелено. На это тоже закон есть.

– Да где ж я, – вопит Захар, – сто целковых-то возьму? Люди мы несправные, всего третий год, как с братовьями разделились.

Так ведь вот какой добрый барин-от, дай Бог ему доброе здоровье!

Другой бы не помилосердствовал, сказал бы: «Вынь да положь сто целковых», и говорить бы много не стал; а он только десятью целковыми удовольствовался... Добрая душа, правду надо говорить!

Пошел Алексей Петрович от Захара к Игнатию Зиновьеву. Изба-то рядом. Ну там всё этак же. Обошёлся чинно, ласково, безобидно... Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля величества славы Твоя!..

Опять ярко-синяя молния, опять страшный громовой удар. Старик со страхом крестился, ребёнок визжал, девчонка со страху под лавку запряталась.

Оправившись, Максимыч так продолжал речь свою:

– А хоша у Игнатья тоже рогожка на печи была, да, услыхавши про беду у соседа, на двор её выкинул. Алексей Петрович противного у него не приметил, да, выйдя из избы, полез на чердак.

– А где, говорит, у тебя кадка с водой, где, говорит, швабра?

– Какая кадка, батюшка, ваше высокоблагородие? – спрашивает Игнатий.

– А ради пожарного случая, говорит, которую велено ставить. Где она?

Игнатий ему:

– Мне, батюшка, ваше высокоблагородие, по разводу, на пожар с ухватом ходить. И на доске, что у ворот прибита, ухват намалёван. Про кадку да про швабру впервой слышу.

– Как впервой? Да ведь у тебя должна же быть кадка с водой на чердаке?

– А на что ж она потребуется, осмелюсь спросить вас, батюшка Алексей Петрович? Дело теперь зимнее: вода в кадке замёрзнет, какая ж от неё польза будет? А шваброй-то что тут делать, когда Божьим гневом грех случится? Теперь на крыше снегу-то на аршин. Да и летом, коли за грехи несчастный случай доведётся, не со шваброй мне на крыше сидеть, а скорее бежать на пожар с ухватом. И на доске намалёвано, что с ухватом. А ежель по соседству загорится, так уж тут, батюшка, ваше высокоблагородие, не до швабры, не до ухвата: тут скорей за своё добришко хватишься, чтоб на задворицу его для бережья повытаскать.

– Да ты много-то, милый мой, не растабарывай, – говорит Игнатию Алексей Петрович. – Не я выдумал, чтоб кадка да швабра у тебя на чердаке была. Царское повеление, законом предписано. На-ка, вот, читай.

– Да я, батюшка, слепой человек: грамоте не обучен.

Велел грамотника призвать. Тот же сердечный Захар пришёл. Подал ему спервоначалу Алексей Петрович двенадцатый том... Так, кажись, закон-от прозывается.

– Читай, говорит, вслух.

Вычитывает Захар, что у всякого крестьянина на чердаке надо быть кадке с водой и швабре.

– Фу, ты, прорва какая! А мы и не ведали.

После того Алексей Петрович Захару Уложенну в руки. Показывает статью.

– Читай, говорит, да погромче, чтобы все слышали.

Вычитывает Захар:

«Коли у хозяев домов нет в готовности на случай пожара сосудов с водой, с того брать по закону от пятидесяти копеек до пяти рублей».

У всех руки так и опустились, для того, что ни у кого на чердаках ни кадок с водой, ни швабры и даже никакой посуды, про какую Захар вычитал, с роду не бывало... Ко всякому мужику Алексей Петрович потрудился на чердак слазить. Все перед законом остались виноваты.

Что ж ты думаешь, кормилец? Ведь добрый-от какой! Закон уж велит пять целковых за ту провинность взять, а он, дай Бог ему доброго здоровья, только по зелененькой со двора справил... Такой барин, такой добрый, что весь свет выходи – другого не найдёшь. Дай Господи ему многолетнего здравия и души спасения!.. Хороший, хороший человек...

– Лошади готовы, – сказал вошедший мужик. – За смазочку бы старосте надо...

– Прощай, дедушка!..

– Прости, родной, прости!.. Дай Бог тебе благополучно!

– Так хорош у вас Алексей Петрович? – спросил я его ещё раз по выходе.

– Расхороший-хороший, – отвечал Максимыч, – такой хороший, что не надо лучше.

Гроза промчалась... Свежо, благовонно... Стрелой летели добрые кони вдоль по уезду, что так благоденствовал под отеческим управленьем доброго Алексея Петровича.

*1860*

**11 класс**

Комплексный анализ прозаического произведения

*А.Т. Аверченко*

**Счастье солдата Михеева**

**I**

Однажды я прочёл в газете заметку – в отделе «Дневник происшествий».

Заметка эта была набрана петитом, поставлена в самом укромном уголке газеты и вообще она не претендовала на исключительное к себе внимание со стороны читателя.

И, однако, прочтя эту заметку, я поразился, я преклонился перед её библейской величавостью, Шекспировской глубиной и дьявольской холодностью стиля околоточного надзирателя, – выдержку из протокола которого заметка, вероятно, и представляла. Врезалась она мне в память слово-в-слово:

«Вчера, в трактир Кобозева по Калужской улице зашёл уличный продавец счастья, предлагавший посетителям конвертики с "предсказанием судьбы"... Бывший в трактире мещанин Синюхин заинтересовался предсказанием своей судьбы и тут же купил у продавца счастья предсказание за 5 коп. Но, вскрыв конверт и прочитав свою судьбу, мещанин Синюхин остался ею недоволен и, вскочив с места, бросился догонять продавца счастья, уже вышедшего на улицу. Тут, на улице между ними возгорелся спор: недовольный своей судьбой, Синюхин стал требовать у продавца возврата уплаченных денег, а продавец отказывался, утверждая, что он и сам не знает, что заключено в конверте. Спор перешел в драку, причем мещ. Синюхин ударил продавца счастья по лицу. Разъяренный продавец счастья, назвавший себя потом Игнатием Рысис, выхватил нож и ударом в живот убил наповал мещ. Синюхина. Рысис арестован».

Не поразительна ли эта сухая газетная заметка: человек купил предсказание своей судьбы, остался ею недоволен, захотел с типичной слепотой глупого человека изменить эту судьбу – и что же? Судьба победила его. Человек нашел свою судьбу очень плохой – и что же? Через пять минут он оказался прав.

И судьба оказалась права.

А «продавец счастья», продавший своему клиенту плохое счастье, кем он оказался в руках судьбы? Послушным слепым орудием.

И я очень, очень жалею, что мне не придется никогда встретиться с Игнатием Рысис, отбывающим где-нибудь в каторжной тюрьме положенный ему срок.

Чувствую я, что это настоящий продавец счастья и что только у него, вероятно, я мог бы с точностью узнать предстоящую свою судьбу.

Так хочется верить, что мне бы он продал счастье получше, чем счастье мещанина Синюхина.

А, может быть...

**II**

У ворот сборного пункта, как пчёлы, роились бородатые, усатые запасные.

Человек сто их было, одетых в поддевки, зипуны, пиджаки и пальто, накинутые на плечи.

Уже чувствовалось, что постепенно отрываются они – совершенно для себя незаметно – от эгоистической семейной ячейки и что входят они уже, что вливаются они – тоже совершенно для себя незаметно – в одну великую единую могучую реку, называемую армией.

Теряется индивидуальность, теряется лицо – одна серая компактная масса поползёт куда-то, сосредоточенно нахмурив общие брови на общем лице...

Я втёрся в их толпу, и в один момент меня окружила, проглотила масса плеч, голов и спин.

– Что, барин, тоже идёшь? – сверкнул белыми зубами на загорелом лице усатый молодец, широкоплечий, на диво скроенный.

– Нет, до меня пока очередь не дошла, я так.

Обыкновенно при таких встречах всякому пишущему человеку полагается задать солдатам один преглупый вопрос (и, однако, всякий пишущий человек его задаёт):

– Что, страшно идти на войну?

Я не такой.

– Курить хотите, братцы? – спросил я, вынимая свёрток с заранее приготовленной тысячей папирос.

Как куча снегу под лучами африканского солнца, – если такая комбинация вообще мыслима – растаяли мои папиросы.

Лица осветились огоньками папирос, приветливыми улыбками – мы разговорились.

– И чего это, скажи ты мне барин, на милость, русский человек так немцов не любит? Японец ничего себе, турок даже, скажем, на что бедовая голова – пусть себе дышит... А вот поди-ж ты – как немцов бить – и-и-и-их, как все ухватились. И тащить не надо – сам народ идёт.

Чей-то невидимый голос прозвучал сзади меня:

– Понятно: турок, японец, он сбоку тебя идёт, а немец на спину норовит взгромоздиться.

– Верно, Миколаев.

– Опять же о немце и так некоторые выражаются...

Мне так и не удалось узнать, как выражаются некоторые о немце, потому что сбоку весь народ зашевелился и оттуда послышался зычный голос:

– Счасть-е!!! Судь-ба! Пять копеек штука! Кому желательно узнать свою истинную судьбу за пять копеек штука. Нижние чины платят пять копеек, верхние чины – десять копеек!

– Ишь-ты, – умилился кто-то. – Везде, значит, нижним чинам легше!

– Гляди, Михеев, – вскричал мужичонко, заметно формировавшийся уже здесь на сборном пункте в будущего ротного остряка. – Гляди, брат, как тебе повезло, что ты ещё в нижних чинах! Будь ты енералом – тут бы-те и крышка. Разорил бы тебя гривенник.

Широкоплечий Михеев, тот самый, что спросил меня, иду ли я на войну? – отодвинул легонько будущего ротного остряка, и придав лицу серьёзное, строгое, как перед причастием, выражение, протянул продавцу счастья пятак:

– Дай-ка, дядя, на последний. Чего оно там такое?..

И по его сжатым губам, по нахмуренным бровям было видно, что для него – это дело не шуточное.

И все поняли, что перед ними, может быть, решается судьба человека, и тоже притихли, сгрудившись около продавца счастья.

У этого продавца счастья дело было, видно, поставлено на широкую ногу: ящик был обклеен серебряной бумагой, обит золочёными, успевшими потускнеть, гвоздиками, а на крышке ящика сидел старый зелёный попугай, производивший крайне благоприятное впечатление своим добросовестным видом.

Он будто говорил:

– Мне что-ж... Мне всё равно. Я в вашу судьбу не вмешиваюсь. Какой конвертик попадется, такой и получите. А дальше уж ваше дело.

Вообще, всё предприятие имело солидный вид. Присутствие равнодушного, как сама судьба, попугая как нельзя лучше гарантировало отсутствие элемента пристрастия во всём деле. А если бы счастье вынимала рука продавца или покупателя счастья – кое о чём можно было бы поспорить.

– Птица вынет? – почему-то шёпотом спросил Михеев, с плохо скрытым суеверным ужасом поглядывая на загадочного попугая.

– Птица. Дело Божье – нам вмешиваться нельзя.

Продавец выдвинул нижний ящичек. Попугай механически нагнулся вниз, клюнул и равнодушно протянул клюв, держа в нём счастье солдата Михеева.

Слышно было прерывистое дыхание заинтересованных зрителей.

Михеев перекрестился широким привычным крестом и вскрыл конверт.

Повертел нерешительно жёлтый клочок бумаги, всмотрелся в него и, чмокнув губами, протянул мне.

– Чегой-то печать неразборчива, – заметил он. – Прочти, барин.

И он близко-близко придвинулся ко мне, этот человек, судьба которого была в моих руках.

Я внятно прочёл:

*Гадание карьеры.*

«Ты красива и найдёшь любящих тебя из среды множества молодых людей. Наконец, влюбишься в известного богача и справедливо, но без взаимности; только соединению вашему помешает много думающая о себе его тётка.

Будь, однако, в постановлениях своих постоянна, так, по смерти этой тётки, он обвенчается и осчастливит тебя. Бог благословит тебя потомством, которое будет тебя уважать и любить. Одна из твоих дочерей, пристойная, выйдет рано замуж, оставит мать и уедет со своим мужем в Америку, где будет счастливой.

Проживешь до 90 лет».

Михеев внимательно прослушал до конца всю подсунутую ему попугаем судьбу и, поразмыслив немного, нерешительно заметил:

– Что-то оно, как будто, не тово, барин... Будто тут больше об женщине. А?

Я обернулся с целью попросить у продавца судьбы объяснения этому казусному случаю, но того и след простыл.

Уважение к солидности его фирмы сменилось у меня лёгким разочарованием и досадой, но я постарался не подать виду.

Приходилось оперировать тем, что было в руках.

– Видишь ли, Михеев, – обратился я к разочарованному, убитому искателю счастья. – Ты не должен понимать того, что здесь сказано, буквально. То есть, другими словами, здесь всё сказано приблизительно. Тебе дан, так сказать, материал, а ты уже сам должен толковать, как тебе более подходит по твоему полу и званию.

Его убитый вид сменился другим – внимательным, с примесью лёгкой надежды в широко раскрытых голубых глазах.

И когда он придвинулся ко мне ближе и взглянул на меня этими доверчивыми, как у ребёнка, голубыми глазами, будто ища защиты и покровительства – сердце моё раскрылось навстречу ему и я решил, что сделаю всё, чтобы утешить и ободрить этого солдата Михеева.

**III**

– Так вот что, Михеев... Это ничего, что тут, как будто, женская судьба. Ведь, согласись сам, что у продавца всего один ящик, а покупают у него мужчины и женщины – как же попугаю тут разобраться. Верно?

– Так-то оно так, – согласился Михеев, по-прежнему, с полуоткрытым ртом ловя каждое моё слово.

– А ещё бы же не так! Ну вот теперь, разберём по-настоящему каждую фразу...

– Фразу?

– Ну, да... я хочу сказать: по кусочку. Ну-с... Кусочек первый... «Ты красива и найдешь любящих тебя из среды множества молодых людей»...

Я осмотрел его критическим взглядом и искренно сказал:

– Есть. Парень ты, действительно, красивый. Значит, это верно.

Михеев вспыхнул, опустил голову и стал застенчиво царапать крепким ногтем какой-то узелок на собственном рукаве.

И товарищи тоже осмотрели его и единогласно подтвердили:

– Да парень он что ж... Ничего себе. Парень, как парень.

– Всё, как говорится, на месте.

– Значит, верно сказано.

По тону окружающих было заметно, что кредит жёлтой бумажонки стал заметно подыматься.

– Пойдём дальше. «Влюбишься в известного бог... гм!.. в известную богачиху и справедливо, но без взаимности»... Ну, это, Михеев, тоже понятно. Сердцу, брат, не закажешь! И если понравится богачиха – так тут уж ничего не поделаешь.

– Это верно, – согласились некоторые опытные люди из окружающих, очевидно, уже пронзённые в своё время стрелами крылатого Амура.

– Любовь – зла, полюбишь и козла, – подтвердил кто-то из наиболее израненных крылатым богом.

– То-то и оно, – улыбнулся я, снисходительно оглядывая внимательную аудиторию. – Теперь... что касается «без взаимности» тоже – брат... Ты, Михеев, не обижайся, но богачихи, они народ избалованный – где ж ей любить простого... ты чем занимался раньше?

– Сцепщиком был на железной дороге.

– Да... Где-ж ей полюбить простого сцепщика?

– Что-ж, я понимаю, – скромно согласился Михеев. – Где мне до богачихи. Не по носу табак.

– Это правильно, – поддержал кто-то.

– Нешто нашему брату сиволапому до богачихи тянуться? Жирно будет.

– Лопнешь тут.

– Тут уж не беспокойся.

– Отошьют.

– Дальше. «Только соединению вашему помешает много думающая о себе его тётка».

– Ишь, стерва, – возмутился рыжий солдат из числа искренно сочувствующих Михееву.

– Она, баба, действительно... Куда не впутается, везде дрянь будет.

– Ишь-ты: «много думающая о себе тётка». Дать бы ей хорошей выволочки – так не думала бы о себе много.

– Жидок на расправу их брат, – заметил тот же наиболее израненный стрелами Амура. – От первого леща такой вой подымет, что и-и-их!

– Ну, замолчи. Разговорился тут. Читайте, барин, дальше.

– «Будь, однако, в постановлениях своих постоянен, так по смерти этой тётки он... гм... она обвенчается и осчастливит тебя».

Михеев вдруг прыснул в кулак, но тотчас же, будто испугавшись, принял преувеличенно важный вид.

– Уже, – махнул он рукой.

– Что «уже»?!

– Обвенчались. Восемь лет, как я женат.

– Чего ж ты молчал, – растерялся я, немного сбитый с толку.

– Как же. Девятый год пошёл.

– Что ж, – спросил рыжий солдат, – так оно и было? Богатая была?

– Это как сказать... Двести рублей за ней взял, перину, корову.

– Деньги не малые, – вздохнул маленький мужик.

– Сила!

– Вот оно, брат, судьба-то и оказалась... Попугай, брат, врать не станет.

– Тётка-то была?

– У ей? Была. Такая презлющая, что ужас. В Мокеевке шахтёры её убили. Стряпухой она была на артель.

– Так ей и надо, – поддержал тот же ожесточённый женщинами господин. – Заслужила своё.

– И как это ловко всё предсказано: богачиха – извольте; венчание – извольте; тётка – извольте.

– Я ж тебе говорил – попугай, он себя окажет.

– Оказал. Хитреющая птица.

– Молчите, черти. Только мешаете. Читайте, барин.

– «Бог благословит тебя потомством, которое будет тебя уважать и любить. Одна из твоих дочерей, пристойная, выйдет рано замуж, оставит мать и уедет со своим мужем в Америку».

– Не пущу! – твёрдо и значительно сказал вдруг Михеев, упрямо, как бык, наклонив голову.

– Кого не пустишь?!

– Её. Дочку. В Америку.

– Как же так ты не пустишь, чудак человек, – вмешался рыжий солдат, ежели ейный муж её возьмет.

– Не пущу. Пусть тут сидит.

– Михеев, – возразил я. – Да ведь это же судьба. Как же ты можешь идти напротив??

– Конечно, пусти, – послышались голоса. – Ишь, чёрт, упёрся: «не пущу»!

– Как же так можно мужнюю жену не отпустить.

– За это, брат, по головке не погладят.

– Да уж... Муж, ежели не дурак, такое тебе «не пущу» пропишет, что ног не потянешь.

– Ну, ладно... Пусть едет, – сдался Михеев. – Другая останется. Дальше как, барин?

– «...Где будет счастливой. Проживешь до 90 лет».

– Это я-то?

– Ясно. Вот видишь тут сказано, внизу.

Михеев расцвёл. Ударил себя в полы и радостно засмеялся.

– Это ловко, братцы! Вот тебе и война. И пропишу же я немцу теперь!.. А? До 90 лет!!! А я-то думаю себе: «Эх, бабахнет меня там ядром али пулей – пропал я вместе со всеми потрохами». А? Девяносто лет!

– Делов ты теперь накрутишь, Михеев, – заметил рыжий солдат, безо всякой, впрочем, зависти.

– Говорил же я, что попугай себя окажет.

– Что и говорить – все как по писанному. Спасибо, барин. Утешил.

Товарищи поздравляли сияющего Михеева.

*1915*

1. Суббота перед масленицей. Самые большие базары по сёлам *(примечание П.И.Мельникова-Печерского).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Деревянный пристенок у печи*.* [↑](#footnote-ref-2)